УДК 82-93 ББК 84(2=411.2)6 С28

Оформление Валерий Калныньш

Иллюстрации Ирина Капралова

## Северинец, А. К.

C28 Вспоминая Вегас : повесть / Анна Константиновна Северинец. — М. : Время, 2020. — 160 с. : ил. — (Время — юность!).

ISBN 978-5-9691-1944-4

Девочки бывают думающие и... разные другие. Эта книжка — для думающих. Автор не ограничилась повестью из жизни старшеклассницы Тани по прозвищу Вегас, а вплела ее историю в довольно хитрую косичку из трех сюжетов. Вторая нить — сказка о принцессе Абигайль, заточенной, как водится, в неприступном замке. Эту сказку-загадку читает героиня книги, невольно рифмуя судьбу несчастной принцессы с собственными приключениями. Но есть еще и третий сюжет — взгляд на события сверху, сквозь годы, размышления повзрослевшей Тани Вегас обо всем, что с ней случилось, и еще много о чем. О том, что... «Господи, что когда-то казалось важным! И ведь не верила маме, что это все ерунда, что все пройдет, что все будет еще — другое». В общем, читай. Умные, много знающие и тонко чувствующие женщины вырастают именно из думающих девочек.

ISBN: 978-5-9691-1944-4

7859691119444

ББК 84(2=411.2)6

© Северинец А. К., 2020

© «Время», 2020

Это был тот неловкий момент, когда ты идешь вся такая из себя, а из штанины торчат забытые там со вчера колготки. Волочатся за тобой, как облезлый хвост, а ты почему-то этого не замечаешь и шпаришь по улице с высоко поднятой головой. И только спустя десять минут понимаешь: а ведь происходит что-то странное.

Вегас к этому, вообще-то, привыкла.

Это ведь она умудрилась надеть свои первые каблуки в самый тот день, когда случился ранний октябрьский заморозок, и она ковыляла по тонкому льду и продержалась всю дорогу до школы, а когда вырулила на школьный двор, то там и загремела со всех своих каблучищ, прямо под ноги Антохе и Сырнику.

И это она, Танька Вегас, как-то раз влетела на урок с минутным опозданием и застыла у двери под свинцовым взглядом Крысы Алексеевны, а рубашка-то у Вегас надета наизнанку, всеми ярлыками на ветру трепещет, швами подмигивает, даже

Боярышева, тоже мне подруга, не удержалась, подавилась смехом, что уж говорить про остальных...

А еще именно она когда-то на турбазе, куда их по старой своей советской памяти вывезла физичка типа на тренинг лидерских качеств, именно Танька Вегас была приглашена в первый раз в своей недотепистой жизни на танец, однако кавалер оказался сильно выпившим, а она — к этому не подготовленной... Да-да, это только Вегас могла зарыдать, оттолкнуть несчастного пацана и выбежать вон из комнаты, как будто она не Танька с Малиновки, а тургеневская барышня из дворянского гнезда.

А почему Вегас?.. Это тоже история. Мама разжилась где-то джинсами. Успела в какой-то секондхенд до того, как там все приличное разметут. Радостная прибежала. Ну Танька, по своей привычке особенно не разбираясь, в них впрыгнула и на репетицию побежала. А там на попе, еле заметно так, просто как бы нитки переплетались по-другому, было четко прописано: VEGAS.

Непонятно, почему шмотки так бунтовали против Таньки. Но они бунтовали. Оттого Танька одевалась лишь бы как и в зеркало смотрела только в случае крайней необходимости.

Поэтому колготкам из штанины она уже не сильно-то и удивилась. Остановилась, вытащила,

сунула в рюкзак и побрела дальше. Совсем не вся из себя такая, а несколько поблекшая. И правильно. Нечего хорохориться. Все равно жизнь не удалась.

Вчера гуляли с Антохой по Малиновке. Хотелось бы думать, конечно, что это было романтическое свидание, но — нет. На самом деле они просто друзья. Хотя и насчет друзей — это Танька по своему обыкновению выдает желаемое за действительное. Просто пацаны иногда любят потрепаться с Вегас: она прикольная, говорит, что думает, не обижается на шутки, много читает и не строит глазки.

Так вот вчера Танька зачем-то разоткровенничалась на тему «Сплина»: мол, Васильев — он как я, только мужчина, он относится к миру так же, как относилась бы я, мы вообще, видимо, две половинки, и, если так сложится, что мне удастся попасть к нему за кулисы и я перекинусь с ним хоть парой слов, он все поймет и... «Вегас! — серьезно спросил Антоха, наморщив лоб. — Ты вообще на себя в зеркало смотрела?»

Ну не очень-то смотрела, и что? Для настоящей любви внешность не помеха. И он, между прочим, отлично это знает.

Ей удалось сделать вид, что она не обиделась, и они еще с час трепались про всякое, меряя шагами туда-сюда пыльный проспект Космонавтов, но

настроение было безнадежно испорчено. Поэтому в школу сегодня не хотелось. И думать о том, что Антоха уже снисходительно посмеялся с Сырником над ее любовно-музыкальными мечтами, тоже не хотелось. И жить особенно не хотелось, а если учесть еще и колготки...

В общем, если кто думает, что Вегас — это шутки, смех и веселье, тот сильно ошибается.

Танька швырнула сумку на лавку, шлепнулась на нее всем весом и выхватила книжку. Полчаса до физики. Таньке физика вообще-то до фонаря — она поступает на филологический, но идти на урок все равно надо — разнюхать, что там в мире делается. Ладно, время есть еще. Можно сунуть нос в добычу: в стопке книг, вывезенных из бабушкиной квартиры, обнаружилась одна, без начала и конца, без обложки и опознавательных знаков, но такая древняя и такая затрепанная, что было очевидно — книжка что надо.

......

Это было непросто: продумать и нарисовать эскиз, заказать витую решетку с контурами будущего витража, подобрать в лавке у Мауриньо подходящие стекла. Рубиновые и нежно-серебристые обещали привезти из Венеции только к новому году,

черные, для глазков в перьях, — и вовсе к весне, поэтому торопиться было некуда, и Абигайль отшлифовывала нижнюю половину витража до миллиметра.

Ее комната была в башне, самой высокой из четырех круглых башен королевского дворца. Вообще таких комнат было пять: две в этой, западной, башне и по одной в восточной, северной и южной. Прямо над комнатой Абигайль была комната ее старшей сестры Эммелины. Иногда, когда стража обходила противоположную стену замка, им удавалось обменяться записками при помощи пеньковой веревки с грузиком: Эммелина спускала письмо вниз, Абигайль крепила ответ и дергала веревку.

Если подойти к окну, из которого виден двор, можно увидеть окна комнат других принцесс: Лилианны, третьей сестры, живущей в восточной башне, Урсулы, самой младшей, которой когда-то отдали башню южную, и наконец окно в северной башне: кто там живет и складывает свой витраж с обратной, невидимой стороны, Абигайль не знала.

Она совсем ничего не помнила о себе, кроме этой комнаты, из которой она не выходит вот уже двенадцать лет, если верить письмам Эммелины. Не выходит совсем, если не считать ежедневных

прогулок на верхней площадке башни: кружевные арки по кругу, красная черепица над головой, бескрайние поля, пока хватает взгляда. Ее время — до обеда, время Эммелины — после. Другим повезло больше: они могут сидеть на своих площадках хоть целый день, пока не надоест. Ах да: еще раз в год — путешествие в наглухо закрытой карете в лавку Мауриньо. Там можно выбрать себе все, что душа пожелает — и что понадобится для витража.

Витраж был любимым занятием Абигайль. Она любила думать о нем, представлять его в деталях и цвете, менять его то так, то эдак, любила продумывать, какие именно стекла и какой контур отыщет себе в лавке и как будет потом наверху, на широком столе резать стеклышки маленьким алмазным ножиком с серебряной ручкой.

•••••

Вегас захлопнула книжку. Понятно. Башни, принцессы, замки, витражи... Что эта книжка делала у бабушки, книжной гурманши, заведующей центральной городской библиотекой, понять было трудно. Самое легкое, что можно было отыскать у бабушки на полках — «Сердца трех» Лондона или «Овод» Войнич, все равно было «высокой»

литературой, а принцессы встречались разве что в сборнике легенд о короле Артуре. Кто-то скажет, нельзя растить девочек без книжек о принцессах, но назад дороги нет — Танька таких в детстве не читала.

Ладно, ничего не попишешь, надо идти. Может, Антоха ее как раз пожалел, никому ничего не рассказывал, сам все забыл и вообще прогуливает первый урок.

У физички был странный бзик. Как бы она ни одевалась, ногти обязательно красила в ядовито-зеленый. Когда она задергивала черные шторы перед тем, как показать какой-нибудь образовательный фильм, ногти характерно поблескивали на тяжелой ткани, как будто веселая стайка мух-навозниц вылупилась из личинок и теперь оживленно тусуется на жирной земле... Мухи были толстые, откормленные, отборные, длиннющие и крепкие; когда физичка упиралась ими в какую-нибудь запись в тетрадке (А это у тебя, извиняюсь, что? Формула плотности? Ты уверена, Самотина?), посреди клетчатого поля оставалась глубокая рытвина. Но по крайней мере, время на физике шло побыстрее, чем на других предметах: можно было думать про физичкины ногти.

На остальных приходилось думать о Волчке.

А еще надо было постараться, чтобы никто ничего не заподозрил, потому что не дай бог Волчок узнал бы, что Танька по нему сохнет...

Да, Вегас умудрялась сохнуть сразу по всем. Если бы Антоха признался ей в любви, она бы, честное слово, не стала воротить нос и с радостью назвалась его подругой. Эта мысль была уже такой заезженной и многократно проигранной в голове во всяких вариантах, что Вегас даже не разволновалась. Дохлый номер. Если бы ей удалось попасть за кулисы к Васильеву... Ну, в общем-то, она, конечно, вчера посмотрела пристрастно в зеркало — и сегодня ей было неприятно думать о кулисах. А Волчок — это все не то. Это был самый лучший парень на земле, и она любила его не потому, что ждала ответа или мечтала о поцелуе, нет, даже страшно было думать об этом. Просто Волчок был лучшим и его нельзя было не любить.

Во-первых, он был красивый. Высокий, черноволосый, с густыми бровями, черными глазами и пронзительным, насквозь, взглядом. Он не боялся смотреть прямо в глаза любой девчонке, с которой приходилось поболтать или всего-то разминуться на лестнице, и, когда Танькин 10-й «А» по четвергам поднимался на третий этаж в кабинет физики, а его 11-й «Б» на этой же перемене спускался



в спортзал, они обязательно встречались глазами — умирающая от любви Вегас и высокий черноглазый Волчок. Он смотрел только на нее, это Вегас знала точно, но на всякий случай не спрашивала ни у Боярышевой, ни у кого другого, не кажется ли им, что Волчок смотрит и на них тоже.

Во-вторых, он был умный. Гордость школы, надежда математички, международные олимпиады, школьная сборная по «Что? Где? Когда?»... это был какой-то невероятный ученик, которого в школе не бывало отродясь, и все учителя просто млели и таяли, когда говорили о Степане Волкове.

В-третьих, он был сильный. Однажды Волчок просто так, одной рукой поднял на метр в высоту этого балбеса Грушинского, противного шестиклашку, который забегал в кабинеты старшеклассников и вытряхивал на пол их портфели и сумки. Грушинский висел, болтал ногами и хватал ртом воздух, а Волчок подержал его, подержал — и поставил, и больше Грушинский со своего первого этажа на третий не совался.

В-четвертых, Волчок играл на гитаре. Не просто «у любви у нашей се-ла ба-та-рей-ка», а всякие хабанеры и кармен-сюиты. Вегас только ради него соглашалась участвовать в школьных концертах — чтобы ходить на репетиции и видеть Волч-

ка. Таньку приглашали почитать стихи с выражением, она и вправду читала здорово, очень просто и в то же время сильно, без выпендрежа и выделываний, и Волчок несколько раз даже разворачивался в дверях, останавливался и молча смотрел прямо в упор на Вегас, пока она, умирая от страшной пустоты в животе, читала стихи. Впрочем, посмотреть на Светку Пустовалову он оставался всегда, а не какие-то несколько раз. Но Светка не была его девушкой. У него вообще не было никакой девушки. И это было хорошо.

Физичка задерживалась, Антохи тоже не было, одноклассники сонно разбредались по кабинету, швыряя тяжелые сумки на парты, и Вегас, чтобы отвлечься от мыслей о Волчке, опять раскрыла книжку.

......

...выложить свою мечту. Абигайль поначалу думала, что управится за неделю. Но только на то, чтобы придумать сюжет, ушло три года. Все же мечта — страшно ошибиться.

Эммелина выкладывала ворона. Ворон, писала она в одной из записок, птица мудрая, спокойная и строгая. Живет триста лет. Уж наверное, кое-что знает об этой жизни. Хорошо, если удастся свя-

зать свою жизнь с человеком, похожим на ворона, девушке, которая полжизни провела заточенной в башне. Витраж задуман был простым: белый снег, черные тени от ветвей на этом снегу и черный ворон с антрацитовым глазом в правом верхнем углу. Строгий, умный и равнодушный. Скорее всего, солнце, бьющее по вечерам закатным светом прямо в витраж, лежало на полу комнаты Эммелины строгими и невеселыми квадратами.

Абигайль придумала себе павлина. Пусть говорят, что это напыщенная и глупая птица (Эммелина писала, что видела давным-давно такую в королевском зоопарке и бонна сказала тогда: посмотри, Эмми, какой фанфарон), но в павлине Абигайль угадывала двойное дно. Он не был чернобелым, этот фанфарон, все в нем блестело и переливалось неверным цветом, изумрудом, мятой, золотом, бирюзой, и, если бы Абигайль была тогда с Эммелиной в зоопарке, она простояла бы рядом с этой птицей до самого вечера. Павлина можно было читать, как книгу, и никогда не понять его до конца, перечитывая перо за пером каждый раз, когда становится скучно. Скучно Абигайль было почти всегда. Ей отчаянно был нужен павлин.

Единственная книга, которую она чудом отыскала в лавке Мауриньо лет пять назад, тоже была похожа на павлина. Может быть, тому, кто прочитал ее один раз, она показалась бы бессмысленной. Но Абигайль читала ее бесконечно. Других у нее, в общем-то, не было, но удивительно: она не страдала от однообразия. Было что-то такое в этой книге, отчего ее можно было читать по кругу, абзацами, страницами, с любого места, а еще можно было зацепиться за любое слово — и обнаружить себя далеко-далеко от незамысловатого сюжета, в каких-то своих, только что придуманных и уже забытых, историях.

Это была книжка о какой-то жизни, закончившейся катастрофой, — и тот, кто писал ее, старался поймать эту прошедшую жизнь за хвост, как хотела ухватить своего павлина из мечты Абигайль. Читать ее было не страшно, несмотря на то что рассказывалось в ней о временах, когда людей на земле совсем не осталось, потому что Абигайль была, Эммелина была, король — был, а значит, все в книжке было выдуманным — ну или все в мире после той катастрофы по какой-то причине опять началось сначала.

Опушка леса была сухой, теплой и душистой. На невысоких пригорках золотилась умирающая трава, в которой прятались боровики и подосинови-

ки, в ямках под давно вывороченными корнями таилась прохлада. Лес начинался большим земляничником. Сверху были видны только лакированные листки, но снизу, если стать на коленки и заглянуть под блестящий ковер, можно было найти пару ягод земляники, неизвестно как сохранившихся до августа. Я всегда начинала дорогу к дому с этой опушки.

Раньше, много-много лет назад, в километре отсюда была деревня. Я приезжала сюда к бабушке. Теперь здесь не было ничего. Две развалившиеся хаты, из которых я давным-давно перенесла домой все, что могла унести. На то место, где была деревня, я ходила только тогда, когда мне хотелось поговорить с бабушкой: прямо на берегу большой реки было кладбище, и там — ее могила в желтом песке. Я протаптывала тропинку к ней среди высоченной травы, выпалывала сорняки и следила, чтобы не заваливалась ограда. На кладбище было много моих: дед, прадед, прапрадед, их сестры, братья, племянники, но я ходила только к бабушке, потому что с остальными мне не удавалось найти общий язык. Хотя я знала про них все, что только можно знать о предках, и общие темы можно было бы найти.

С кладбища до леса — час пути, если не торопясь, по старой дороге, которая постепенно затя-

гивалась клевером. И по лесу еще час, через кочки и рвы, в которые превратились окопы последней войны. Леса я не боялась: во-первых, в нем никого не было, кроме птиц и зайцев, ну, может, еще лисиц, а во-вторых, это был очень симпатичный и гостеприимный лес. Никаких зарослей, никаких колючих кустов, никакой крапивы, никаких болот. Одна только приятная сухость, тепло и земляничный аромат.

Так что два часа — и я дома.

Это огромный шалаш или что-то похожее на него: крышей служат тесно переплетенные еловые ветки, переложенные соломой, стенами — тугой плетень из осиновой и кленовой поросли. На крыше я расстелила и надежно закрепила в несколько слоев полиэтиленовую пленку, которую когда-то поснимала с брошенных деревенских парников, стены утеплила всяким текстилем, тоже экспроприированным в никому уже не нужных домах. Пространство внутри круглое, потому что плетень плелся по кругу. У меня есть хорошая кровать с непродавленным матрасом, на ней — лоскутное покрывало и подушки, у окошка — стол, на нем старенькая печатная машинка. Как-то в городе мне попалась целая коробка ленты к ней — я специально зашла в исполком и хорошенько пошарила по кабинетам. Естественно, во встроенном шкафу за спиной у воображаемой секретарши, там, где в первом ряду были свалены папки с документами третьестепенной важности, на нижней полке во втором ряду покоилась лента. Я знаю секретарш, они никогда не выбрасывают канцтовары, к какой бы эпохе те ни относились.

А зимой я топлю печку. Она у меня, конечно, кривая и несимпатичная, но теплая, сложенная по старым моим воспоминаниям: однажды на даче печник клал печку, и я смотрела во все глаза, как будто знала, что пригодится.

Обидно, конечно, что все эти мои умения, вроде печки, дизайна круглых помещений и плетения изгороди, никому не нужны. Ну кроме меня самой. Самым страшным ощущением после того, как я привыкла к своему одиночеству планетарного масштаба, было ощущение абсолютной конечности моего существования, невозможности продолжиться в детях, учениках или каких-нибудь абстрактных читателях будущих библиотек. Никого больше, наверное, не будет. Свыкнуться с этой мыслью было трудно.

Поэтому я стала писать.

Книги исчезали постепенно. Их не прятали, как ленты для печатных машинок, во встроенные

шкафы за пыльные коробки, и я не знаю почему. Наверное, потому что одной книжки, которую имело бы смысл прятать, не было, а все книжки, которые спрятать хотелось бы, не влезут ни в один шкаф. Вышло так, что при нашем общем недосмотре всю бумагу в конце концов свезли в центральные библиотеки столиц и человечество полностью перешло на электронные книги. Круг замкнулся: библиотеки Александрии и Пергама, в которых когда-то хранилось все написанное на земле, повторились в библиотеках Лос-Анджелеса, Москвы и Парижа. Кстати, про Александрию. Когда в ее порты заходили любые корабли, первым делом принимающая сторона проводила вежливый обыск. Все свитки, которые скучающие пассажиры брали с собой в дорогу, изымались, с них делались копии, которые и возвращались в итоге владельцам, а оригиналы отправлялись в библиотеку. Если учесть, что копии были отвратительными, неполными, безграмотными, неаккуратными, а библиотека в конце концов сгорела, — можно себе представить, что мы имели в качестве мировой литературы. Всего лишь безграмотно сделанные копии. Ну а теперь нет и того: столицы уничтожены, сервера снесены, электричества нет, да если бы и было, читать некому.